



ГРОССМЕЙСТЕРЫ
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ

ВАЛЕРИЙ
ПОВОЛЯЕВ
**ТАЙНЫ
КОНТОРЫ**
ЖИЗНЬ
И СМЕРТЬ
ГЕНЕРАЛА
ШЕБАРШИНА



Валерий Дмитриевич Поволяев

Тайны Конторы. Жизнь и смерть генерала Шебаршина

Серия «Гроссмейстеры тайной войны»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9356117

*Валерий Поволяев. Тайны Конторы. Жизнь и смерть генерала
Шебаршина: Алгоритм; Москва; 2014*

ISBN 978-5-4438-0942-7

Аннотация

Трагическая гибель последнего руководителя советской внешней разведки Леонида Владимировича Шебаршина для многих стала неразрешимой загадкой. За самоубийством руководителя разведки такого уровня должно стоять многое. Валерий Поволяев предпринимает попытку приоткрыть завесу тайны и ответить на вопрос: кем был генерал Шебаршин? За рамками своих мемуаров Леонид Шебаршин оставил много тайн. Гриф секретности с них будет снят только через много лет (если его снимут вообще). Но кое-что удалось узнать уже сейчас. Этому и посвящена книга, которую выдержите в руках.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Предисловие | 5 |
| Знакомство | 7 |
| Марьина Роща | 13 |
| Голуби | 49 |
| Институтская пора | 63 |
| Плюс 52° в тени | 70 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 75 |

Валерий Поволяев
Тайны Конторы.
Жизнь и смерть
генерала Шебаршина

© Поволяев В.Д., 2014

© ООО «Издательство «Алгоритм», 2014

Предисловие

В моем архиве, среди писем и других бумаг отца сохранилась небольшая записка, написанная его стремительным, летящим почерком: «Кому интересны мелькания старого человека? Даже самому себе не очень интересны. Но жизнь была такой насыщенной событиями, людьми, новыми местами, сложной работой и на столько напряжение каждого сегодняшнего дня мешало понять всю ее привлекательность, что всплывающие сейчас из памяти дни, эпизоды, случаи, впечатления, выплывающие и ускользающие, песком текущие между пальцев, вызывают желание как-то закрепить их, записать, затвердить, возвращаться к ним снова и снова».

Книги отца знают многие, уверен, что их прочитают еще тысячи людей, потому что главное в них – это не просто самоотчет о собственной жизни, а правдивая, честная и умная хроника событий последних десятилетий российской истории. Его размышления, подчас горькие, о России и своем народе, понятны и близки не только его соратникам, друзьям и близким, ставшим частью его огромной жизни, но и всем, кто неравнодушен к судьбе своего Отечества.

Отец был честный и добрый человек, добрый по настоящему, понимавший при этом суетность жизни и сумевший не потерять себя в ней, несмотря ни на какие испытания. Я наечно признателен ему за уроки Правды, преподанные мне.

Я крайне редко спорил с ним. Поводом к одному из таких редких случаев стало горькое высказывание отца, сделанное им как-то раз на излете жизни: «Лешка! Помни – река времен впадает в болото». «Отец! – сказал я – Это не правда. Это горечь! Твоя бурная река времени, которая вела тебя через несчастья и радости, привела тебя к океану добра и правды!»

Я признателен автору книги и всем замечательным людям, которые внесли вклад в ее создание. Я советую прочитать ее всем, для кого важны нравственные уроки истории, сплетенной из судеб тысяч людей, в том числе моего отца и его друзей.

Алексей Шебаршин

Знакомство

С Леонидом Владимировичем Шебаршиным мы познакомились, можно сказать, случайно.

За окнами домов наших в ту пору погромыхивали разбойные девяностые годы, самое начало их: уже начали заваливаться могучие некогда предприятия, хотя никто не верил, что они завалятся; экономика, управляемая неумелыми руками, подобно издырявленной лодке, шла ко дну; появилось огромное количество пустых говорунов – непонятно даже было, откуда взялось их столько, не могла же Россия родить так много пустоцветов; повального воровства, взяточничества такого, что царит сейчас, еще не было. А слово «коррупция» не употреблялось газетчиками даже в самых смелых статьях.

В Москве в ту пору начал издаваться толстый международный журнал, и я устроился в него работать главным редактором русского издания. Патронировал журнал, поддерживал всячески Владимир Петрович Евтушенков, до недавнего времени командовавший в столице образованием и наукой, – было такое управление в Моссовете.

Как-то Евтушенков позвонил и попросил подобрать двух-трех толковых, с хорошими перьями писателей, – сказав, что предстоит срочная работа над книгой. Заказ поступил из Англии, книга будет издана там, на английском языке.

То, что она будет издана на английском, снимало многие вопросы. Во-первых, каждый писатель обычно вырабатывает свой стиль и потом им пользуется, это происходит не сразу, накапливается с годами, и стиль одного писателя бывает очень непохож на стиль другого... Например, Юрия Бондарева никогда не перепутаешь, допустим, с Юрием Нагибиным, а Виктора Астафьева с Валентином Пикулем. Разностиля следовало опасаться, но перевод на английский снимал все вопросы: перевод сведет все стили в один. И два – можно будет влезать в какой-нибудь не дотянутый коллегой кусок и делать свои вставки. Они также будут незаметны.

Я пригласил на эту работу Вячеслава Марченко, толкового прозаика, в прошлом военного моряка, офицера, и Олеса Кожедуба, белорусского писателя, пишущего на русском, и мы втроем занялись рукописью.

А рукопись была непростая – книга Леонида Владимировича Шебаршина, руководившего несколько лет советской разведкой. Евтушенков познакомил нас с Шебаршиным – происходило это в старом кабинете Евтушенкова, в особняке неподалеку от Патриарших прудов, – и там же мы договорились с Шебаршиным о первой встрече, уже деловой, в рукавниках. Жила наша дружная бригада в одном писательском поселке, во Внуково. Линия писательских дач и мастерских начиналась в Переделкино, ползла вдоль железной дороги в Мичуринец, а оттуда во Внуково. Хотя и далековато это было от Москвы, но работать было очень удобно и, как

мне казалось, Шебаршин довольно охотно приезжал сюда.

В Москве было неспокойно, она сделалась какой-то хамоватой, неуправляемой, настырной, и Шебаршину, который родился в столице и знал ее в самые разные годы, в том числе и в военные, видал ее всякой, в ту пору она казалась просто-напросто чужой.

Наверное, так оно и было – Москва начала девяностых годов сделалась чужой для многих из нас.

А в нашем уютном писательском поселке нравы были другие, царила тихая золотая осень, столичные вихри сюда почти не долетали, – только телевизор выплевывал, извините, какие-нибудь неприятные вести, но его быстро выключали, и все вокруг вновь становилось тихим и приятным, как в лучшие годы нашей жизни, жизни каждого из нас.

Революционным демократическим духом совсем не пахло, на влажном асфальте лежали яркие палые листья, а из леса, который буквально нависал над нашими балконами, тянуло запахом опят – грибов одинаково хороших и в жареве, и в вареве, и в засоле.

Шебаршину, который, как оказалось, был завзятым, просто отчаянным грибником, хотелось хотя бы минут на двадцать уйти в лес с плетеной корзиной, но он был человеком дисциплины – это можно было позволить себе после работы.

Но после работы мы дружно жарили на сковородке простую деревенскую картошку с луком на домашнем подсолнечном масле, очень ароматном, нарезали крупными куска-

ми черный бородинский хлеб, доставали из морозилки бутылку водки, холодную, с тягучим, словно сироп, содержанием, обсыпанную густой снежной махрой, и обедали.

Много воды утекло с той поры, многое стерлось, память стершееся не восстанавливает, а вот обеды те запомнились хорошо... До сих пор помню вкус и запах той роскошной внуковской картошки.

Книгу мы разбили на главы, каждая глава – это веха из жизни Шебаршина. Жизнь в Марьиной Роще и работа в Пакистане, в Карачи, перемены в судьбе, учеба в разведшколе, пребывание в Индии и в Ираке, Афганистан, в котором Шебаршин бывал много чаще иных наших деятелей и по-доброму относился к этой стране, боль за родную землю, которую начали разорять, и боль эта отразилась на его служебной деятельности, дымный август девяносто первого года и события последующих лет, которые пришлось пережить Шебаршину.

Каждый из нас, помогавших Леониду Владимировичу работать над книгой, закрепил за собой несколько разделов. Иначе могла быть невообразимая толкучка. А толкучка на страницах – это плохое дело, это обреченная книга.

Одним из самых сложных разделов оказался первый – детские годы. Именно там таилось нечто такое, о чем Шебаршину, может быть, и не хотелось рассказывать, но он брал себя в руки и рассказывал.

Кстати, из всех книг Шебаршина только в одной описа-

на более-менее подробно та пора – в первой книге, в «Руке Москвы».

Жили Шебаршины в месте, известном всей Москве, – в Марьиной Роще, а точнее, в Четырнадцатом проезде Марьиной Рощи, недалеко от железной дороги, через которую был перекинут длинный прочный мост.

Кто помнит Марьину Рощу той поры, вряд ли станет утверждать, что там стояли добротные купеческие особняки, хотя несколько особняков и имелось (сделаны они были, кстати, с гораздо большим вкусом, чем хоромы современных олигархов, – более уютные, а иногда даже и более просторные, хотя в олигархических хорамах бывает несколько подземных этажей, где стоят и автомашины, и отопительные котлы, там же смонтированы целые цеха по ремонту здания – это все есть ныне в большинстве домов нуворишей). В основном Марьиная Роща состояла из расползшихся по земле разных пристроек, сараев, флигелей, подсобных помещений, ну и самих домов, естественно. Дерево есть дерево, случилось, что дома и горели, и заваливались, и сгнивали.

Выцветшие, основательно обработанные ветрами, дождями, снегом, солнцем, дома имели один стандартный цвет – серый, натуральный... Дома не красили, раньше в Москве такой моды не было.

«Тесно и скучно жили марьинорошинские обитатели, – написал Леонид Владимирович Шебаршин, – сапожники-кустари, извозчики, скорняки, рабочие небольших

окрестных заводов и мастерских. В каждой квартире жило по две – три семьи, по семье на комнату, и все пользовались одной кухней, где с трудом помещались кухонные столы».

Хорошо написал автор, лучше не напишешь – все-таки он прожил в Марьиной Роще двадцать восемь лет. Часто случались ссоры, иногда – драки, иногда вообще хватались за ножи, но, несмотря ни на что, тамошний народ жил дружно, в помощи никогда никому не отказывал – и своим марьинорощинцы помогали, и чужим, всякому человеку протягивали руку, если тот оказывался в беде.

«Были там семьи, искони имевшие репутацию непутевых, – пьяницы, бездельники, мелкие воришки, – не стал скрывать Шебаршин. – В большинстве же населяли Марьину Рощу трудовые, не шибко грамотные, но очень неглупые, простые и порядочные люди – русские, татары, мордва, евреи...».

Марьяна Роща

Дед и бабушка Шебаршина – Михаил Андреевич и Евдокия Петровна – приехали в Москву в 1903 году из Подмосковья, а точнее, из Дмитровского района, из деревни Гари, и очень быстро приспособились к здешним условиям.

Работы они не боялись, брались за любое дело, а вот по части того, чтобы стачать модные мужские баретки для выхода по воскресеньям в парк или роскошные дамские туфельки на пуговке, равных им не было. Работали они у хозяина, владельца большой сапожной мастерской, бабушка занималась кроем – вырезала острым заготовочным ножом союзки, берцы, подкладку, затем садилась за машинку, дед натягивал сшитые заготовки на колодки и творил чудеса. Обувь у Лаврентьевых получалась коллекционная, только на выставках экспонировать, хотя шили ее дедушка с бабушкой для простых людей.

И радовались невероятно, когда видели, что их обувь доставляет кому-то удовольствие.

Вот это качество – сделать что-то хорошее и радоваться, если сделанное доставляет удовольствие, – передалось и Леониду Владимировичу. Он относился к категории тех людей, которые любят делать добро, и если кому-то что-то обещал, обещанное обязательно исполнял. Этому он учился с детства и научился: до седых волос следовал неписанному

правилу, ставшему чертой его характера.

А в остальном Шебаршин был в детстве обычным пацаном, бегал на железную дорогу, собирал в мешок уголь, падавший из вагонов на шпалы, лакомился жмыхом, если удавалось достать его, — вкуснее пищи не было, играл в жостку — увесистый свинцовый пятак, к которому была пришта волосатая шкурка, жостку надо было беспрерывно подкидывать вверх ногой — не носком, а боковиной, — выигрывал тот, кто дольше всех держал свинцовую блямбу в воздухе, не давая ей упасть на землю.

У каждого марьинорощинского паренька жостка была обязательно своя, персональная. Очень часто ребята имели по две жостки, а то и по три. Да и вообще, в Москве, наверное, не было мальчишки, который не обзавелся бы столь модной игрушкой военной и послевоенной поры. Не играли в жостку, ловко перекидывая ее ногой, наверное, только кремлевские ребятишки, но их папы каждый день общались с дедушкой Калининым и дядей Ворошиловым, а все остальные играли. Очень азартно, долго, ловко. Из наиболее способных ребят выходили хорошие футболисты.

Собственно, жостка была популярна не только в Москве — в России тоже. Я в те годы жил на Дальнем Востоке, в городе Свободном, так там тоже азартно колотили ногой жостку, правда, называли жостку чуть по-другому, зоской — так для языка было легче, слово не застревало.

У Шебаршина был приятель, живший в доме по сосед-

ству, – Гоша Савицкий, так его дядя, недавно вернувшийся с фронта, Николай Иванович, видя игроков в жостку, обычно интересовался:

– Ну что, выколачиваете дурь из ног?

Может, это и так, знающий народ до сих пор утверждает, что хорошие футболисты той поры действительно были хорошими жосточниками: одно очень логично вытекало из другого, и взрослые ничего плохого в жостке не видели.

Другое дело – чика или расшиши. Чика еще имела и другое название – пристенок, а расшиши еще называли расшибалкой. И чика, и расшиши – это были денежные игры. По мелочи, правда, по пятнадцать, двадцать, в лучшем случае по тридцать копеек, но все же это были деньги.

Пристенок – это когда мальчишки монетой колотили о стенку и стремились угадать так, чтобы монета упала рядом с монетой кона, лежавшей на земле. Если расстояние между монетами можно было измерить пальцами одной руки и игрок дотягивался до монеты кона, то забирал монету кона себе, как и собственную монету, – это был его выигрыш. И еще – имел право следующего удара о стену...

Расшибалка – это была еще более денежная игра. На контрольной черте рисовали «казенку» – специальный квадрат, в который помещали монеты, выстроенные столбиком. Издали разбивали этот столбик, как бильярдные шары, выстроенные треугольником...

Если кто-то из взрослых видел ребятишек, играющих в

расшибалку, то обязательно прерывал игру, ругался, мог вообще прочитать длинную нотацию либо дать по затылку.

На подзатыльники тут не обижались, иногда вообще не обращали на них внимания – это было рядовым делом. Да и подзатыльники эти не помешали пресловутой Марьиной Роще, о которой рассказывали десятки лихих историй, вырастить много блестящих людей, которые вошли в российскую историю.

Были и игры – типичное «физо» (физкультура и спорт). Та же лапта, тот же футбол на зеленой травке, те же «догонялки», очень похожие на эстафетный бег, или вот такая игра – «в отмерялы». Играла обычно целая команда. Играть одному не интересно. Обычно проводили на земле черту. Становились к ней лицом – носками ботинок или тапочек касались этой черты. По команде совершали прыжок вперед. С места. Тот, кто отличился самым маленьким прыжком, становился в позу спортивного коня, и участники игры «в отмерялы» уже прыгали через него, и так далее. Игра эта могла продолжаться долго и давала хорошую физическую нагрузку.

Победившему доставалась слава, уважение ровесников, а большего, честно говоря, и не надо было: авторитет в горластом мальчишеском обществе – святое. Завоевать авторитет, стать таким, чтобы слово твое было непререкаемым, – это штука трудная, может быть, даже труднее, чем стать чемпионом Москвы в каком-нибудь виде спорта.

В общем, ребята в Марьиной Роще росли крепкими –

стальных подков, правда, руками не рвали, но кое-что по части спортивных достижений за своими плечами имели. А когда учились в школе и стали участвовать в разных районных и прочих соревнованиях, то грамот в каждом доме накапливалось столько, что ими можно было обклеивать стены.

Пока не пошли в школу, играли также в войну, некоторые играли еще крохотными, едва научившись ходить: побить фашистов в бою, где-нибудь за печкой, устроить засаду за горкой дров, принесенных в дом, чтобы они оттаяли, и взять в плен немецкого полковника, выведать у него планы наступления фашистов и передать сведения своим – это было едва ли не главное в жизни «мальков» – пацанов семи, восьми, девяти лет.

Из подходящей доски обязательно вырезали автомат, тщательно обрабатывали его ножиком, скребли так, чтобы ни одного заусенца не оставалось, потом полировали стеклом и тщательно оглаживали ладонями, чтобы ложе и приклад блестели, будто покрытые лаком.

Точно так же делали себе и деревянные пистолеты – вырезали их из досок: маузеры, «ТТ»... Был популярен и немецкий «парабеллум» – добыча, взятая как трофей в честном бою, а вот «вальтер» – название этого пистолета было на слуху, очень уж звонко оно звучало, – что-то не пошел, не стал популярным... Видать, несмотря на свое звонкое имя, формы его были неказисты, невелики и уважения не внушали.

Когда на улице стояла лето – благодатная пора для пацан-

вы, — играли на улице за сараями, когда же наступала зима — перемещались домой, в тесноту, пахнущую щами, свежими дровами, керосином — еду-то готовили на керосинках, — иногда хлебом и солеными огурцами... В то голодное время каждая семья старалась запастись продуктами — чем больше, тем лучше. Хотя и трудно это было, но картошка имелась почти у всех, в каждом доме, а если у кого-то картошка кончалась, то соседи обязательно приходили на выручку, каждый выделял немного продуктов.

Жили очень дружно, поддерживали друг друга буквально под локоток. О такой спайке, о тепле общения ныне можно только мечтать.

Не выбрасывалось ничего, даже картофельные очистки. Их Леня Шебаршин и Гоша Савицкий специально собирали в кулек, а потом, когда начинали топить печи, пристраивали эти очистки на трубе, с них очень быстро слезала шкурка (то, что не слезало, сдирали пальцами) и ели. Очень вкусная была эта еда, Савицкому до сих пор помнится!

В тех детских играх в войну Леонид Шебаршин почти всегда был главным красным командиром, побеждающим фашистов, но вот когда в сорок четвертом году к Гошке Савицкому приехала мать и привезла в подарок магазинное ружье с трещоткой, авторитет Гошки вырос настолько, что он потеснил своего приятеля и на несколько дней сам сделался командиром.

Когда начались налеты немецких бомбардировщиков на

Москву, было, конечно, страшно, но со страхами этими справлялись быстро. Марьино Роща – район простой, и люди здесь жили простые, рабочие, эвакуации не подлежавшие, все оставались в своих домах. Но если бы, не дай Бог, немцы вступили в Москву, в Марьиной Роще все бы взялись за оружие и сделали бы все возможное и невозможное, чтобы вышибить врага.

Район марьинорощинский – деревянный, сухой, дома тут могли гореть, как порох, с треском, если бы проворонили хотя бы один дом, то Марьиной Рощи бы не было бы... Другое дело, бомбы там падали редко. И все потому, что ни военных, ни промышленных, ни правительственных объектов в Марьиной Роще не было, и немцы это знали.

Но тем не менее во всех марьинорощинских проездах, во всех семнадцати без исключения, – были отрыты свои бомбоубежища.

Убежища эти были довольно примитивные: выкапывалась землянка, – большая, с подпорами и прочими инженерными атрибутами, сверху накрывалась бревнами и засыпалась землей. Вот, пожалуй, и все. Укрытие, конечно, несерьезное, попадания бомбы не выдержит, даже если бомба упадет в пяти – десяти метрах от него, тоже завалится, но все же это было укрытие, и когда на крыше недалекой школы начинала истошно выть сирена, установленная там еще летом сорок первого года, народ поспешно тянулся в убежище – кто с книжкой, кто с узелком продуктов, кто с рукодельем, кто с

чем, – в общем, сидели там до отбоя.

Отбой – все та же, вызывающая мороз по коже песня си-
рены...

В сорок втором году в Четырнадцатом проезде построили газоубежище. Не бомбоубежище, не овощехранилище, а именно газоубежище, и людям так и объяснили: «Это газоубежище!».

Видимо, от немцев ожидали и такое – газовых бомб, но к этой поре наши совершили несколько удачных налетов на Берлин, – и бомбили Берлин, вот ведь как, и германская столица горела, только об этом почему-то мало рассказывали, – и гитлеровцы отказались от бомбардировок Москвы.

Некоторое время газоубежище стояло пустым, никак не использовалось, а потом из него решили сделать овощехранилище... И вот тут-то самая пора вернуться к картошке – излюбленному блюду обитателей Марьиной Рощи.

Самые большие объемы в овощехранилище были заняты, конечно же, картошкой, – картошка была везде, во всех су-секах, хранили ее, естественно не в мешках, а россыпью, а вот привозили по-разному – в основном в мешках, но случалось, что и россыпью.

Вот тогда-то у пацанвы из Четырнадцатого проезда наступал праздник: у всякого картофельного потока обязательно была утечка: то в одном месте на землю шлепалась пара картофелин, то в другом, и эта картошка становилась добычей пацанов.

Грузчики ругались, иногда давали кому-нибудь из мальчишек тумака, но очень редко: трудно было оказаться проворнее марьинорощинских ребят: ребята были проворнее грузчиков.

Зато какая радость была, когда Ленька с Гошкой приходили домой с добычей. Первыми их хвалили бабушки: Леньку – бабушка Дуня, Гошку – бабушка Тоня.

– Кормильцы вы наши!

Конечно, кормильцами они не были, стали ими потом, но все равно слышать эти слова было приятно. Бабушки, похвалив внуков, старались обязательно угостить их чем-нибудь вкусным.

А что такое «вкусное» в годы войны – та же картофелина, испеченная в печи (в Марьиной Роще печи были далеко не во всех домах), на сковородке и посыпанная крупной солью, а еще лучше картошка была, когда ее запекали в золе – м-м, это было просто объедение; второе лакомство – это обычный кусок ржаного черного хлеба, лучше всего горбушка, посыпанная солью.

Все ребята из Четырнадцатого проезда были готовы в любую секунду выскочить из дома на звук автомобильного мотора: когда приезжала машина с картошкой, она обязательно разворачивалась в узком проезде, едва не цепляя за дома, делая разворот в несколько приемов, и завывание ее движка было сигналом для сбора – из всех дверей высыпала ребятня.

Некоторые, наиболее сообразительные, выбегали даже с

мешками – шили их специально.

И нравы в Марьиной Роще существовали свои, отличные от других окраинных районов Москвы.

Те, кто утверждает, что Марьиная Роща была местом самых низких притонов, «малин», хаз, в которых роскошно жили разные уголовные элементы, паханы и «смотрящие», глубоко ошибается – Марьиная Роща была обычным московским районом, хотя и жила по своим законам.

В Марьиной Роще действительно жило несколько «паханов», которые очень грамотно разделили район на сектора и поддерживали там порядок – каждый «пахан» в своем секторе.

И порядок действительно был: «паханы» наводили его вместе с милицией – делали это, не смыкаясь, не соприкасаясь друг с другом, автономно, каждый сам по себе. Но чтобы там лютовала какая-нибудь «Черная кошка», а по проездам с наганом в руке гуляла пресловутая Мурка, сопровождаемая коварной Сонькой, чтоб сюда, в здешние притоны, к проституткам приезжал богатый люд, дабы оставить там несколько тысяч рублей, – такого не было. Как не было и стрельбы по ночам, истошных криков добропорядочных граждан, к которым с финками приставали гоп-стопники, не было и трупов, обнаруженных бдительными патрулями в придорожных канавах.

Это все – досужие рассказы, подзаборная литература из разряда «ОБС» – «Одна баба сказала», страхи интеллиген-

тов, живших в центре Москвы и боявшихся даже нос сунуть в Марьину Рощу.

Находилось здесь и очень строгое отделение милиции, которым командовал человек по фамилии Рапопорт. Сейчас уже никто не помнит ни его имени, ни звания, но порядок в Марьиной Роще при нем был. И люди, ежели что, шли в отделение за защитой. И милиция их защищала.

Впрочем, точно так же шли и к «паханам» – те своих не давали в обиду. Блатные, жившие в Марьиной Роще, – они, кстати, обитали и в других районах столицы, во всех без исключения, кроме, может быть, Кремля, – никогда в своем районе не воровали, и если кто-то собирался это сделать – жестоко пресекали.

У продуктового магазина обязательно стоял постовой – его в Марьиной Роще по старинке называли околоточным, и если что-то происходило, люди бежали к нему. Околоточный («около точки») во всем разбирался по справедливости, если требовалось – то вызывал подмогу.

Как-то блатные вычислили в своих рядах «крота», иначе говоря, стукача, и поздно вечером около газоубежища расправились с ним. Ленька и Гошка были тому свидетелями.

На траве расселось «общество», – кто-то покурил сигарету, кто-то поигрывал ножичком. «Крот» стоял перед блатными бледный, тощий, в обвисшей одежде. Он мог бы, конечно, от блатных убежать, но не делал этого, это было бы для него только хуже.

Кто-нибудь из блатных задавал вопрос, «крот» отвечал – врать было нельзя, за вранье могли излупить так, что мало не показалось бы, поэтому говорил он, как на суде, только то, что знал – правду. А поскольку правда эта была стукаческая, то вставал один из блатных и бил его.

Били сильно – «крот» шлепался на землю, ноги его вскидывались вверх сами по себе.

Следовал следующий вопрос, на который «крот» отвечал также правдиво, за вопросом – сильный удар. Несчастный «крот» снова летел на землю, подвывая и размазывая по лицу красную мокредь.

Расправа шла минут сорок, «крота» не убили, но проучили на всю оставшуюся жизнь, а Шебаршин и Савицкий запомнили то, что видели, также на всю жизнь – такие истории не забываются. Наблюдали они за нею из-за угла и очень боялись, что кто-нибудь из блатных заметит их. Но пронесло – никто не засек, что ребяташки наблюдали за экзекуцией.

Я представляю: иной собрат по перу так бы расписал эту сцену, что по коже побежали бы колючие мурашки, и финки расписал бы, и кровь красную, и как «крот» рыбкой летал на землю, а в конце описания поставил многозначительные три точки. Это означало бы, что судьбу «крота» понимай как хочешь. С одной стороны, его вроде бы и прирезали, оставили подыхать в канаве, с другой, вроде бы и нет – вроде бы...

Но «крота» марьинорощинские обитатели не убили, проучили как следует и отпустили восвояси.

Из своих рядов, естественно, вырубили. Наука очень действенная.

Старожилы Марьиной Рощи до сих пор вспоминают начальника 20-го отделения Рапопорта, при котором и порядок был, и справедливость торжествовала, и блатных он держал в узде, при случае мог поставить по струнке. И горестно качают головой старожилы – сейчас таких милиционеров нет. А если есть, то они ничего не знают о них.

Сирены, несмотря на вой, который обычно называли истошным – и он действительно был истошным, – все-таки отличались друг от друга. Голосами. У одной сирены голос был басовитым, низким, у другой – визжащим, истеричным, у третьей – спокойным, деловым, работающим на двух нотах, у четвертой – тонким и противным, словно бы на крышу вместо сирены подняли циркулярную пилу, у пятой – напоминал звук немецкого самолета «гау-гау», шестая также имела свою особенность, и так далее.

Одинаковых голосов не было.

Голос сирены, стоявшей в будке на крыше 605-й школы, расположенной недалеко от родного дома, Шебаршин мог различать среди остальных голосов даже в семидесятипятилетнем возрасте: так запал он в память – не выкурить. И до последних дней голос сирены, если его доводилось слышать, вызывал у Шебаршина некую внутреннюю дрожь. Как, собственно, у многих людей, познавших войну.

После одной из тревог по Марьиной Роще пронесся слух, что один из самолетов, нападавших на Москву, сбит и упал в Останкино.

Останкино – зеленое местечко с роскошным парком и прудом – находилось недалеко – полчаса неспешного хода, а если бегом, то можно уложиться в двадцать минут.

С места сорвались целой лавиной и понеслись в Останкино – охота было увидеть вблизи технику, на которой летают гитлеровцы. Гошка запыхался, он не мог тянуть наравне с ребятами, которым было по восемь – девять лет, дыхание еще не установилось, было не то, поэтому начал отставать, но Ленька его не бросил...

Хоть и с опозданием, но к самолету они все же прибыли, и лица их растянулись в жалобных улыбках: в Останкино действительно находился упавший самолет, только не гитлеровский «юнкерс», а наш небольшой истребитель, ястребок с тупо обрубленным носом. Сейчас, конечно, трудно определить, что это была за машина, скорее всего – «ишачок», И-16. А хотелось, очень хотелось, чтобы на земле валялся немец, какой-нибудь «юнкерс» или «хейнкель».

Обратно возвращались удрученные, медленным, небрежным шагом, – ни отстающих, ни вырывающихся вперед не было. То ли неисправным оказался тот самолет и это обнаружилось в воздухе, то ли попал под огонь наших же зениток – в общем, оказался он на своей земле недалеко от Останкинского парка.

Дверей в Марьиной Роще, несмотря на худую славу района, никто никогда не запирает – все дома, все квартиры были открыты. И никто ничего не брал – не воровали, понятие чужого добра, как и то, что счастья оно не принесет, сидело в крови у каждого марьинорощинского обитателя. Независимо от возраста.

У Гоши Савицкого однажды стряслась вообще анекдотическая история. Он зимой потерял шапку. Сбило ветром, подхватило порывом и уволокло. В общем, остался парень без шапки.

Надо покупать новую – мать, конечно, будет недовольна, может быть, даже стукнет по затылку, но шапку обязательно купит. Надо только выдержать первый натиск матери, первые упреки и первый подзатыльник, если он последует.

Вечером Гоша матери ничего не сказал, решил, что лучше это сделать утром – уж очень мать была вечером злая, а утром встал – шапка его лежит в коридоре... Это означало, что кто-то ранним утром, по свежему морозцу, нашел в снегу его шапку и, зная, кому она принадлежит, принес Гошке прямо домой. Поскольку дома уже никого не было, а Гошка еще спал, неведомый доброхот не стал его будить, положил шапку на пол в коридоре и ушел.

Савицкий до сих пор не знает, кто его так здорово выручил.

Если в Марьиной Роще воровства не было – воры сюда

просто не совались, – то за пределами района воровства было сколько хочешь.

В частности, и Шебаршины, и Савицкие получили неподалеку – в Бутырском хуторе, именуемом попросту Бутыркой, – участки земли под огороды. Время было голодное. Огород считался хорошим подспорьем.

– С огородом мы не пропадем, – говорили бывалые люди, и правильно говорили: это было так.

Сажали в основном, конечно же, картошку – главную еду московского пролетариата, и не только московского – пролетариата российского.

На участки эти навалились дружно, и старые и малые, очистили от камней и железного хлама, выкорчевали несколько старых пней, вскопали, баба Дуня достала где-то немного навоза – настоящего, деревенского, из-под лошадей, – навоз также бросили в землю, и в один из теплых майских дней посадили картошку.

Картошка уродилась на славу, пошла в рост споро, и хотя хорошая ботва не считается приметой хороших клубней, опытная баба Тоня Савицкая сказала: картошечка вырастет неплохая. Это подбодрило обе семьи.

На огородах бывали часто – окучивали ряды, пропалывали их, следили, чтобы никто не забрался, и уже в июле, в середине, лакомились молодой картошкой, распробовали ее основательно и остались довольны. Обе семьи дружно решили, что можно, конечно, съесть картошку и молодой, но

лучше подождать до осени, когда картошка станет настоящей, матерой бульбой, и тогда собрать урожай... Даже место определили, где будут хранить картошку зимой.

Так дотянули до середины сентября. В сентябре народ весь вываливается на огороды – выкапывать картошку. В воскресный день Шебаршины и Савицкие дружной компанией отправились на Бутырский хутор, дома никто не остался.

Пришли на огороды, и у бабы Тони Савицкой болезненно посерело лицо: огороды оказались выкопанными.

Бабушка Тоня плакала:

– Я еще вчера приходила сюда, смотрела, ботву щупала – вся картошка была на месте, в земле, а сейчас уже нет. Боже, что же такое творится? Хоть бы руки отвалились у этих воров и разбойников!

А семьи, которые рассчитывали прожить на этой картошке, вытянуть зиму, были большими: у бабушки Дуни Шебаршиной под крылом находилось семь человек, у бабушки Тони Савицкой – шесть. Как же кормить эту ораву в лютую зиму, чем кормить?

Оставалось только одно – рассчитывать лишь на самих себя, на свои руки. У бабы Дуни руки были золотые, она, повторюсь, славилась на всю Марьину Рощу, шила обувные заготовки, которые мастера натягивали потом на колодки.

Мастер-сапожник может надеть на колодку любую заготовку, хоть чехол из-под зонта, и приклеить к чехлу подош-

ву, а вот сшить заготовку так, чтобы она была и модной, и глаз радовала, и технологических огрехов не имела – штука сложная.

Баба Дуня умела кроить и шить всякие заготовки – и сапоги с нарядными блочками и высокой шнуровкой, и ботиночки с рельефными кантами и меховой опушкой поверху, и туфли-лодочки, изящно садящиеся на колодку и еще более изящно – на нежную женскую ногу, и детские пинетки, украшенными вырезанными из цветной кожи цветами, и подростковые баретки, и лаковые мужские полуботинки – словом, все, все, все, что мог представить своим клиентам цех сапожных мастеров столицы.

Баба Дуня все умела делать, собственно, она и тянула в трудную военную пору большую семью Шебаршиных, кормила и поила ребят, одевала и обувала.

Обе бабушки, верховодящие в своих фамилиях, – баба Дуня и баба Тоня – вытянули семьи, не дали никому умереть...

Спят сейчас обе бабушки на московских кладбищах, тихие, безропотные, – никто из них никогда не скажет уже ни одного слова внукам (да и половины внуков также уже нет), если только ветер принесет откуда-нибудь едва слышные горькие слова и через несколько мгновений потащит дальше – ничего больше нет.

А вот память о них осталась. И живет она и в роду Шебаршиных, и в роду Савицких. И станет жить до тех пор, пока

Шебаршины и Савицкие сами будут живы.

Это так важно для всякого человека, для рода, для страны... А люди без памяти очень скоро превращаются в животных. Так считают признанные мудрецы.

У пацанвы Марьиной Рощи было четкое деление не только на проезды, но и на дворы. Каждый проезд был отдельным государством и никак не меньше, каждый двор – скажем так, княжеством. Савицкие и Шебаршины жили хотя и в разных домах, но в одном дворе – их дома располагались окнами друг к другу, в этом же дворе имелся еще один дом в торце, поставленный перпендикулярно к домам Шебаршина и Савицкого, только чуть задвинутый за дом Шебаршина, одноэтажный.

Дом, где жили Шебаршины, был двухэтажный, а вот дом Савицких был большим и несколько странным. Половина дома была одноэтажной, другая половина – двухэтажной.

В одноэтажной половине когда-то располагалась красильная фабрика, далее к ней примыкала двухэтажная жилая часть. Через некоторое время фабрику закрыли, а здание осталось... Но не пропало, естественно, – его быстренько перделали в общежитие. Получился большой, густонаселенный дом, окруженный сараями. Сарай стояли очень плотно друг к другу – каждая семья обязательно имела свое помещение, куда прятала различные хозяйственные принадлежности – лопаты, пилы, топоры, слесарный и плотницкий ин-

струмент (мастерить что-нибудь здесь умели все без исключения), складывали дрова, сюда же приносили и старую мебель – не выбрасывать же!

В более позднюю пору сараи стали называть хозблоками (кому-то слово «сарай» показалось слишком простонародным), но суть их оставалась прежняя.

Торцевой одноэтажный дом имел не только свои большие сараи, но и роскошную голубятню. О голубях и голубятнях, об этом повальном увлечении послевоенной поры, речь пойдет немного ниже.

Как известно, Марьину Рошу пересекали целых две железных дороги – Октябрьская и Рижская, на длиннющей Шереметьевской улице через эти дороги были перекинuty мосты; к Четырнадцатому проезду была ближе Октябрьская «чугунка». На ней имелись свалки цветного металла, где ребята находили много чего интересного, в частности довольно толстые плоские алюминиевые полоски, из которых они делали мечи. Мечи были почти как настоящие. Драться на них было очень интересно – грохот, лязганье стояли, как во время настоящей схватки: девчонки специально прибегали посмотреть, как мальчишки дерутся на мечах.

За мечами пошла мода на щиты – особенно круглые, как во времена Дмитрия Донского и Куликовской битвы; щиты вырезали из старого кровельного железа, молотком загибали края, чтобы щит был прочным, укрепляли полосками алюминия, деревяшками... Иногда щит получался тяжеловат,

но с этим мирились: чем тяжелее он был, тем прочнее, тем лучше им было отбивать удары.

Баталии получались славные, очень зрелищные, только на кинокамеру снимать, но почему-то киношники с Мосфильма, с документальной студии, расположенной совсем недалеко, на Новослободской улице, не спешили в Марьину Рощу, чтобы запечатлеть забавные игры тамошних ребят.

Так и шло время, ребята даже не заметили, что подоспела пора идти в школу. Леня Шебаршин был постарше, ему пришлось пойти в школу первым – Гоша Савицкий в этом ему уступал.

Мужская школа – 607-я – находилась в Лазаревском проезде, поэтому Шебаршин пошел туда. Школа № 605, на крыше которой стояла сирена, была женской, и хотя школы в Москве перетасовывали, да и вообще говорили, что мужские и женские школы надо объединить, так удобнее будет для ребят, школа № 605, расположенная буквально рядом, так и осталась женской, ход в нее ученикам-мальчикам был заказан.

Пришлось Ленке отправляться в Лазаревский проезд. Гошка тоже думал, что и ему придется туда бегать, но не тут-то было – его увезли на Украину, и в школу он пошел там, в небольшом шахтерском поселке, расположенном около Макеевки.

Честно говоря, на Украине Гоше очень не хватало Ленки Шебаршина, хотя и там, под Макеевкой, было много чего

интересного. Но уклад жизни был иной, не московский, и ритм был другой, и язык, и еда – все другое.

Неподалеку от поселка находился лагерь немецких военнопленных, небольшой лагерь – несколько тысяч человек. Немцы прокладывали дороги, строили дома, оживляли погубленные шахты – в общем, восстанавливали то, что сами уничтожили.

Охраняли немцы в основном себя сами – убежать-то все равно никуда не убежали бы, – а уж за немецкой охраной присматривала наша, в уменьшенном составе.

Иногда проштрафившихся немцев наказывали, и тогда за них вступались наши женщины, как правило, старые, которые хлебнули от этих же самых немцев столько горя, беды, столько настрадались и наплакались, что это даже описанию не поддается. Но вот она, славянская натура: скорбные старые женщины проявляли доброту и вступались за провинившихся фрицев.

Это поражало больше всего, и в первую очередь – самих немцев.

Народ в лагере сидел мастеровитый, работающий, ни генералов, ни старших офицеров там не было, поэтому многие фрицы всегда что-нибудь мастерили: либо свистульки, либо тросточки, либо игрушки, либо еще что-нибудь, и это у них всегда получалось очень занятно, залюбоваться можно. И ребята из шахтерского поселка устраивали обмены – приносили хлеб, картошку, в обмен получали свистульку, при-

носили чуть больше хлеба – к свистульке получали в дополнение еще и тросточку.

Отношения складывались вполне дружелюбные, никакой ненависти к немцам у ребят (да и не только у ребят, история с бабками-заступницами тому пример) не было... Хотя ребяташки эти потеряли в войне и отцов своих, и дедов, и старших братьев, да и сами гитлеровцы во время оккупации творили зверства, расстреливали, вешали и стариков, и женщин, и детей.

Это, конечно, не было забыто – и такое вообще не забывается никогда, но ненависти к бывшим врагам не было: люди умели отделять зерна от плевел, а котлеты, извините, от мух. Да и потом, на Руси всегда чтили правило: лежачего не бьют.

Иногда пленные отдавали свои игрушки просто так, без всякого хлеба, а хлеб, мол, потом принесете, когда будет, – и надо отдать должное: ребята никогда не обманывали их, обязательно приносили горбушку: долг платежом красен...

Хорошая была жизнь у Гоши Савицкого в шахтерском поселке, и ребята были хорошие – с ними он подружился, но, если честно, по-прежнему не хватало Лени Шебаршина, очень не хватало.

Савицкий тогда даже не понимал, в чем дело, не разбирался в психологических тонкостях, понял только много лет спустя, уже вновь живя в Москве.

Через полтора года он вернулся в столицу, пошел в ту же школу, что и Шебаршин – 607-ю мужскую, – но Ленька

Шебаршин уже далеко ускорился вперед, он шел по школьной лестнице на три класса выше. А это, если считать в детскую светлую пору, много, очень много...

Однажды Ленка Шебаршин и Гошка Савицкий рты поразевали так, что в них, кажется, могла влезть вся Марьяна Роща, и долго их не закрывали: они увидели у себя, в Четырнадцатом проезде, живого Всеволода Боброва, легендарного спортсмена. По популярности, по всеобщей известности Бобров мог сравниться разве что с Ворошиловым, да и то надо было долго определять по чашам весов: какая перетянет, а какая окажется внизу?

Бобров был и гениальным футболистом, и гениальным хоккеистом, а под конец жизни оказался еще и гениальным тренером. Слава его была невероятна.

Это о нем впоследствии сказал поэт: «Гений русского футбола, Гагарин с шайбой на Руси»...

Начинал он как футболист, но в футболе, в матчах всегда здорово калечили ноги, доставалось и Боброву. Чтобы хоть как-то сохраниться, он переключился на хоккей. Все-таки в хоккее ноги защищают прочные щитки, увечий бывает меньше – хорошая, в общем, игра. И это дело – хоккей – пошло у него не хуже, чем футбол.

Как-то Бобров на одной из тренировок придвинул к одним воротам другие, зазор между штангами оставил очень небольшой – он был равен, как потом измерили, толщине

хоккейной шайбы.

Боброва тут же окружили люди – интересно было, что знаменитый спортсмен придумал на этот раз.

– Скажите, в этот зазор можно забить шайбу или нет? – спросил Бобров у собравшихся.

– Да ты что, Сева! – возмущенно воскликнул кто-то из хоккеистов. – Сюда не только шайба, сюда даже тощая хлебная корка не пролезет.

– Хорошо, теперь смотрите, – Бобров отъехал от спаренных ворот на полтора десятка метров, положил на лед шайбу, примерился к ней клюшкой. В следующее мгновение ударил. Шайба поднялась надо льдом, в воздухе перевернулась на бочок, заняла вертикальное положение и вошла точно в зазор между штангами двух сдвинутых ворот.

Тишина возникла такая, что было слышно, как в противоположном углу Москвы, в нескольких километрах от площадки, где происходила тренировка, кричит ворона. Бобров показал нечто сверхъестественное – такой это был хоккеист!

И вот неожиданно знаменитейший Всеволод Михайлович Бобров оказался в Четырнадцатом проезде Марьиной Рощи. Как, зачем, каким образом, к кому он приехал?

История оказалась довольно простой. По соседству с Шебаршиными и Савицкими жил Петр Иванович Сарнатский, директор магазина «Охота», расположенного на Неглинке, очень известного, между прочим – и не только в Москве известного, а далеко за ее пределами – там продавались луч-

шие в стране ружья и всякий более-менее «калиброванный» охотник почитал за честь познакомиться с Сарнатским.

Из Марьиной Рощи в центр, на Неглинку, ходили два автобуса, два номера – 24-й и 12-й, после войны стал ходить еще и троллейбус «чертова дюжина» – 13-й номер.

На углу Неглинной и Кузнецкого моста находилась «Блинная» – заведение очень качественное и с хорошими традициями: там всегда можно было вкусно и недорого поесть, и народ туда ходил интересный. Позже «Блинная» превратилась в «Пирожковую», там даже в поздний час можно было получить пару свежих пирожков, при виде которых текли слюнки, и чашку ароматного горячего бульона. Сарнатский любил туда заходить, брал блинчики с икрой – это было недорого, даже очень недорого, – стопку коньяка и устраивал себе этакий легкий ужин. Более плотный ужин уже «имел место быть» дома.

В тот вечер Сарнатский зашел в «Блинную», а там шум: в заведении находился знаменитый Бобров, который с кем-то повздорил. Видя, что слова его не имеют никакого действия, Бобров пустил в ход «тяжелую артиллерию» – отвесил обидчику хорошую оплеуху.

Но оплеуха до адресата не дошла – хлесткая затрещина эта досталась Петру Ивановичу. Случайно. Буквально через пару минут в «Блинной» появился милицкий патруль...

Был составлен, естественно, акт. А всякий акт – штука серьезная, это документ, на который надо обязательно реаги-

ровать, и очень часто это реагирование заканчивалось в суде.

На дворе стоял 1953-й год, очень непростой – великого Боброва могли запросто замести в кутузку, а оттуда под конвоем доставить куда угодно – в зал суда, в Бутырку, в Александровский централ.

Вот Всеволод Михайлович Бобров и приехал к Сарнатскому домой извиняться. Сарнатский, естественно, простил великого нападающего, дело обошлось миром.

А Леня Шебаршин и Гоша Савицкий проводили Боброва до троллейбуса, – правда, держались от него на расстоянии, стеснялись, хотя Бобров был человеком очень простым и доступным...

Вот так великий спорт заглянул в Четырнадцатый проезд Марьиной Рощи, и момент тот Савицкий помнит до сих пор, помнит в деталях, в мелочах, – как помнил до конца дней своих и Шебаршин.

Вернулся Савицкий с Украины, из шахтерской Макеевки, в Москву, а Москву и не узнать – после войны она отстраивалась очень стремительно и сильно. Только вот Марьяна Роща никак не менялась, какой была, такой и оставалась: темные деревянные дома, сараи во дворах и своя особая жизнь.

Правда, школа, куда Савицкий ходил вместе с Леной Шебаршиным, удивила «украинца» Гошу: на Украине все было не так. И знаний, естественно, давали меньше. Но Москва есть Москва. Тут даже обедами кормили. Впрочем, обед этот был очень условным – просто в перерыв ребята освобожда-

ли класс, дежурный проветривал его и раскладывал на партах чистые листы бумаги, а потом на бумагу клал по куску черного хлеба. Хлеб был посыпан сахаром. Ни Шебаршин, ни Савицкий никогда в жизни ни ели ничего более вкусного, чем тот школьный хлеб.

Такая забота дирекции о школьниках на Украине, например, была совсем неведома.

Нет, определенно, Гоше Савицкому больше нравилось быть в Москве, чем в Макеевке, он был рад тому, что вернулся в Марьину Рощу, к приятелю своему Лене Шебаршину. Жаль только, что учатся они не в одном классе и сидят не за одной партой, но тут ничего не поделаешь – ведь и родился Гоша Савицкий позже Шебаршина, и в школу пошел не в семь лет, а в восемь.

Так и текла жизнь в Марьиной Роще, так и росли ребята в районе, в котором жили вполне нормальные люди.

Школа учила марьинорошинских ребят еще одной важной вещи – общению с девочками. От девчонок здешние мальчишки шарахались, даже более – боялись их. Савицкий сегодня признается, например, что у них ноги подкашивались, когда неожиданно приходилось заговорить с девушкой.

Во-первых, этому очень способствовало то, что школы делились на мужские и женские, точек соприкосновения было мало, а редкие совместные вечера – например, новогодние – мало чего давали. Девушки были для ребят посланницами иных сфер, иных планет, это была та область бытия, которую

еще надо было познавать.

А уж чтобы опуститься до того, чтобы обидеть девчонку, оскорбить или тем более дать ей, как мальчишке, тумака – такого в Марьиной Роще, кажется, не бывало никогда. И не должно было быть.

Во-вторых, все марьинорощинские ребята были плохо одеты и одежды своей смущались. Это тоже было причиной, и причиной немаловажной. Она сковывала многим и руки, и ноги, и вообще превращала мальчишек в малоразговорчивые тени – вместо внятных речей раздавалось какое-то неясное мычание, в котором нельзя было ничего разобрать.

Позже, уже через несколько лет, ребят по внешкольной программе начали обучать разным танцам – прежде всего бальным, классическим; так Савицкий говорит о себе, что он был как «лифт в обмороке», таким же был и Леня Шебаршин. Но внешкольная эта программа была обязательна и, как ни стеснялись себя ребята – и голодные были, и тощие, и одеты, повторяю, плохо, – а под наблюдением учителей научились складно водить ногами по полу – научились польке и краковяку, «падеграсу» и вальсу, учились даже «падепатенеру» – так называемому «танцу конькобежцев». А вот такой прекрасный танец, как танго (даже танго аргентинское, которое, как известно, отличается от танго Парижа и Москвы), был вычеркнут из списка. Танго считалось танцем буржуазным, чуждым нашей стране.

Под звуки бальных танцев Шебаршин и закончил сред-

ную школу и поступил учиться в институт. А Савицкий, которому показалось, что его разлучили с приятелем, с горя решил заняться спортом. Все дело в том, что в 607-й школе появились представители спортивного общества «Строитель» и стали зазывать желающих в разные секции – по интересам.

Были секции плавания и бега, прыжков в высоту и бокса, гимнастики и волейбола. Савицкий решил заняться штангой и записался в секцию тяжелой атлетики.

Пришел в спортзал, разделся, как и положено штангисту, тренер окинул его критическим оком: уж больно худ был будущий спортсмен, словно только что из Освенцима вышел. Поинтересовался сомневающимся голосом:

– Слушай, парень, может, тебе лучше бег попробовать?

Гоша Савицкий отрицательно помотал головой:

– Не-а!

Тренер еще раз оглядел его критически и произнес недовольно – не поверил в Гошины силы, наверное:

– Ну смотри, парень!

Так Савицкий начал заниматься штангой. Очень быстро окреп, налился силой и через год уже был уверенным в себе разрядником, готовым к спортивным подвигам... Наверное бы он и дальше пошел по этой стезе, если бы не старый друг Леня Шебаршин.

Леня уже окончил школу и поступил в престижный институт, учился там, изучал язык и географию жарких стран,

а Гоша еще только перешел в десятый класс...

Однажды Шебаршин появился у него дома:

– Слушай, ты чего паришься в этом своем «Строителе», железками гремишь?

– Что ты предлагаешь?

– Переходи к нам, в институтскую команду шлюпочников. Нам крепкие ребята нужны очень. Переходи – не пожалеешь. К институту будешь ближе, потом поступишь к нам... Оцени перспективу!

Перспектива была неплохая, Савицкий ее оценил и вскоре начал ездить на метро к Крымскому валу, где около знаменитого ажурного моста, поражающего своей воздушной легкостью, располагался институт международных отношений. Москва-река находилась рядом с институтом, от главного входа до набережной – метров двадцать, не больше...

И хотя Савицкий гадал, почему именно в Институте международных отношений была создана секция редчайшего вида спорта, ни одна его догадка не попала в цель. А было все очень просто: на курсе Шебаршина учился один моряк, влюбленный в это дело, он и умудрился заразить шлюпкой полтора десятка студентов, в том числе и Шебаршина. В результате была образована секция.

Успехи в шлюпочном спорте не заставили себя ждать: очень скоро шлюпка, где гребцами выступали Шебаршин и Савицкий, стала брать первые места.

Тренировки были серьезными. Тренировались до седьмо-

го пота, до изнеможения. Сегодня Савицкий признается, что самая любимая команда у них была «Суши весла!».

Это когда гребцы, отработав тренировку, ставят перед собой весла стоймя – «сушат» лопатки. Какие же все-таки вожаденные были эти слова «Суши весла!».

У Савицкого они до сих пор вызывают облегченно-радостную улыбку.

И у Шебаршина всегда вызывали. Часто встречаясь, они вспоминали «спорт их молодости», тренировки на Москверке и соревнования в Химках...

Прекрасное было время!

И куда только оно ушло – вот вопрос, на который, пожалуй, нет ответа; ни один из нас не может ответить на него, и тогда становится печально, душу наполняет осеннее настроение. Это закон. Едва родившись, каждый человек – исключений нет – делает шаг к смерти: первый, второй, третий... И так далее. Назад дороги не существует.

В детстве люди переживают гораздо больше счастливых дней, чем в зрелые годы. Это тоже закон. Савицкий хорошо помнит, как студент Шебаршин появился в Четырнадцатом проезде с девушкой – наверное, первой в его жизни, явно не марьинощинской, стройной, прекрасно одетой, интеллигентной – непринужденность и манера свободно держаться свидетельствовали об этом, – хорошо знавшей поэзию... В чем-то Шебаршин старался даже подражать ей, это было заметно, – но дальше обычного увлечения дело не пошло.

Может быть, девушке не понравилась Марьяна Роща или

старая мебель в доме Шебаршиных, может, еще что-то – этого никто не знает и никогда уже не узнает. Может, условия жизни не подходили...

Москва уже перешла на центральное отопление, на чугунные батареи, на горячую воду и тепло, подаваемые из котельных, а Марьину Рошу, как и до революции, обогревали обычные печи.

Топить их было непросто, как непросто было добывать топливо, дрова, уголь. Причем в холодную пору, когда печи топили особенно усиленно, часто бывало так: на полу замёрзла вода, налитая в блюдце для кошки, а на потолке дерево коробилось от жары.

Еду готовили в основном на керосинках, были, конечно, и примусы, но их было меньше – уж больно зло они шипели и слишком много поедали горючего.

За водой ходили на колонку, брали ведра и шли, в цинковых ведрах ее так и хранили – в каждом доме обязательно на лавке стояли два-три полных ведра.

Уже прошла война, и восстановление хозяйства осталось позади, и много речей о светлом будущем было произнесено, а Марьина Роша продолжала жить по старинке, ничего в ней не менялось.

Но потом дело как-то сдвинулось, потихоньку, полегоньку пошло – с кухонь исчезли керосинки, в старые дома стали привозить баллоны с газом. Уже сделалось легче. Вскоре объявилась новая напасть, ставшая модной, – баллоны нача-

ли воровать. И делали это очень лихо – видать, появились специалисты, которые промышляли только этим.

Украденный баллон для каждой семьи – это несчастье. Надо было составлять акт, кому-то что-то доказывать и, в конце концов, распахивать свой кошелек и выгребать оттуда содержимое... Иначе газа не видать, как собственных ушей.

Наверное, не было семьи, которую бы миновала эта беда.

Но потом и газовые баллоны ушли в прошлое – марьино-рощинский быт понемногу начал преобразаться.

Все-таки, повторюсь, счастливая это была пора, в ней осталось столько радостных минут – и это несмотря на голод, холод, раздетость и разутость, тяготы быта и никудышные дома, в которых жили мальчишки сороковых годов.

Из мальчишек и девчонок непростых сороковых годов выросли очень хорошие люди, имена многих из них стали известны всей стране.

Леонид Шебаршин – один из этих ребят. Мне кажется, когда-нибудь на месте старых кривобоких домов района, который кое у кого до сих пор считается бандитским и это проскальзывает в печати, – поднимется стела, на которой будут высечены славные марьино-рощинские имена. В том числе и имя Шебаршина.

Дружба Савицкого и Шебаршина продолжалась до последнего дня жизни Леонида Владимировича: встретились они в последний раз двадцать пятого марта 2012 года, а в ночь с двадцать девятого на тридцатое Шебаршина не стало.

Объединяло их многое, не только Марьино Роща и послевоенное прошлое. Шебаршин похоронил дочь Таню, которой был двадцать один год, Савицкий – сына Сашу, двадцати пяти лет... Дети их ушли из жизни очень молодыми.

В один и тот же день они отмечали именины своих бабушек – бабы Дуни и бабы Тони, – обязательно собирались и поднимали поминальные чарки.

Оба любили классическую музыку и русские народные песни, из певцов боготворили Шаляпина. Савицкий признается, что Шебаршин из всех своих поездок привозил «изумительную, великолепно записанную, “чистую” музыку» – даже старые, хрипучие от несовершенства, дореволюционные записи. Кроме Шаляпина очень любили ансамбль, в который входили певцы братья Светлановы и балалаечник Пустыльников – Шебаршин откуда-то привез пластинку, и они наслаждались, слушая ее: ох, какие это были песни, мороз по коже бежал от удовольствия! Потом пластинка эта куда-то пропала.

Иногда вместе выбирались на малую родину Шебаршина – в Калининскую губернию (ныне Тверская область), рыбачили на реке Медведице и на Волге – особенно хорошо рыба клевала на слиянии этих двух рек, – обязательно варили уху и пели песни, самые разные – от тягучей «Средь высоких хлебов» до бравурной «Броня крепка и танки наши быстры», – и все у них получалось. Слова сами по себе возникали в памяти, всплывали на поверхность. Шебаршин по-

том даже удивлялся: надо же! Вроде бы слова специально не заучивали, а слова находились в них...

Иногда ездили в те тверские края с семьями, эти маленькие праздники остались с ними на всю жизнь — их вспоминали с теплом: очень уж светлые они были!

А теперь ничего этого уже нет.

Голуби

В Марьиной Роще не было, наверное, ни одного мальчишки, который не мечтал иметь бы своих голубей. Хотя бы пару – всего лишь пару пернатых... А голубятен в семнадцати проездах Марьиной Рощи было много. И какие голуби в них жили – мечта!

Самые редкие и, надо полагать, самые ценимые (не только пацанвой) были турманы. Изящные, с круто выгнутой грудью и маленькой головой, украшенной задиристым гусарским хохолком, турманы могли устраивать показательные полеты, побивали многих других голубей и в скорости, и в красоте, и в легкости; они могли, как жаворонки, подниматься в небо вертикально, иногда изящным винтом, и это было так захватывающе, так красиво, что дыхание останавливалось от восторга не только у мальчишек, еще не научившихся вытирать мокредь под носом, но и у взрослых.

Хороши были чистари – кипенно-белые роскошные голуби с двумя полосками на крыльях; когда они поднимались стаей ввысь и начинали парить, кувыркаться там, то казалось, что в небе играет, резвится большое белое облако, прилетевшее к людям из горних далей.

Очень ценились, так называемые немцы – крупные статные голуби, необычайно послушные – по одной только команде хозяина, очень короткой, срывались с голубятни и

стремительно уходили вверх, точно так же по одному короткому слову, по взмаху снятой с тела рубахи садились.

Сизарей – голубей, которые ныне обитают по всей Москве, их найдешь в любом углу столицы, – не было или практически не было. Так будет точнее. Считались сизари птицами низшей пробы, в голубятнях их не держали, они жили сами по себе. Наверное, именно поэтому их развелось так много ныне в Москве.

Поскольку голубятен в Марьиной Роще было не счесть, то между владельцами их заключались соглашения. Все дело в том, что иной голубь, – либо заблудившись, либо из любопытства, либо заметив нарядную самочку, – порою садился на чужую крышу. Его, естественно, ловили, а дальше уже события развивались по заранее расписанному сценарию.

Соглашения между владельцами голубятен были устные, никто никаких бумаг не составлял – голубятники хлопали по рукам, как богатые купцы начала двадцатого века, тем дело и ограничивалось: такое рукопожатие было много крепче разных бумаг, печатей и регистраций в больших важных журналах.

Существовало у голубятников два понятия: «ловимся» и «не ловимся». Если «не ловимся», то владелец голубятни, на чью крышу сел чужой голубь, возвращал птицу без всяких разговоров, если же «ловимся», то такой голубь становился уже добычей – он уже принадлежал новому хозяину, и его надо было выкупать либо выменивать на что-нибудь... На-

пример, на другого голубя. Правило это – «ловимся – не ловимся» – соблюдалось в Марьиной Роще беспрекословно.

Когда в небе появлялся чужак, то немедленно поднимались все стаи – всем хотелось захватить его и совершить какую-нибудь маленькую коммерческую сделку.

Для того чтобы заманить чужака на свою крышу, существовали карнатые голуби. Карнатые – значит с выдеранными перьями в крыльях, не способные совершать красивые демонстрационные полеты. Но для поимки чужой птицы карнатый голубь был просто незаменим.

Незаменим он был и тогда, когда своя стая начинала капризничать, упрямиться и не хотела садиться. А хозяину надо было обязательно ее посадить, иначе она уйдет в сторону и, не дай Бог, исчезнет.

Тогда хозяин подбрасывал вверх карнатого голубя. Тот – буль-буль-буль – тяжело трепыхал куцыми крыльями и грузно плюхался на крышу. Стая обычно это замечала и садилась рядом. Хозяину только того и надо было.

Точно также карнатые голуби сажали и чужаков, будто бы нить какая прочная, которую не оборвать, нарисовалась между ними, и чужак летел к карнатому на помощь, словно бы хотел подсобить ему взвиться в высь. Иметь карнатого голубя в своем хозяйстве считалось большой роскошью, таких голубятен было немного, основная масса любителей роскошных небесных птиц, завидев чужого голубя, занималась усадкой.

Что такое усадка? Да обыкновенная хитрость – ведь голы на выдумку хитра. Брали голубя, зажимали ему лапки пальцами и вскидывали над головой, тут же отпускали. Голубь трепыхался, взмахивал крыльями, работал ими усиленно и невольно обращал на себя внимание чужака.

И так продолжалось до тех пор, пока чужак не подлетал и не садился рядом. Тут-то он и попадал в плен.

Дальше шла разборка по принципу «ловимся – не ловимся»: если выпадала карта «ловимся», то новый владелец чужака вправе был рассчитывать на некую денежную мзду, которая скоро заведется в его кармане, на выкуп, а это означало, что можно будет выпить кружечку пенистого пива в ларьке на Шереметьевской улице.

Пили в Марьиной Роще, как рассказывал Шебаршин, кстати, мало, да и вообще люди – в отличие от девяностых ельцинских годов, когда народ откровенно спаивали не самым качественным заморским спиртом «роял» (его звали просто «роялем», как некую канифоль или смазку для гитарных струн) – старались особенно не пить. В основном выпивали.

А это происходило редко, как правило, по праздникам либо в дни, связанные с какими-нибудь личными или семейными событиями.

Многие обитатели Марьиной Рощи держали в своих сараях кур и поросят. Ну, куры – это дело обыденное, мелкое, а вот поросенок, особенно подросший, превратившийся в глы-

бу весом пудов так в шесть – это дело серьезное.

Завалить такого поросенка – уже событие. Собирался весь двор, накрывали стол, жарили свежую, одуряюще вкусную печенку – каждому обязательно доставалось хотя бы по кусочку, – обязательно было на таких пиршествах и «хлебное вино» – сиречь водка. Пели песни, вспоминали прошлое, прежде всего военные годы, будь они неладны.

Леня Шебаршин тоже вспоминал военные годы. Особенно один из зимних вечеров 1942 года.

Жили Шебаршины, как известно, на втором этаже; было, конечно, тесно, но, ведомо всем, теснота в укладе русских людей никогда не считалась пороком, недаром же бытовала пословица: «В тесноте, да не в обиде», – а в небольшой квартире Шебаршиных жило три семьи.

Поздно вечером – синим, выюжным – в дверь внизу кто-то постучал. Сильно постучал – знал, видимо, этот человек, что слабый стук на втором этаже вряд ли кто услышит... Стук слышали, только вот какая штука – очень уж никому не хотелось выходить в промерзлый, насквозь пробиваемый ветром, дующим из всех щелей, коридор, затем спускаться по скрипучей, покосившейся от времени лестнице вниз, открывать дверь.

Это было настоящим испытанием, проверкой организма на прочность.

Стук внизу повторился. Был он настойчивым, требовательным, и еще в нем было нечто такое, что обязательно

сдергивает человека с места – это когда кому-то требуется помощь... Именно это и послышалось в неурочном стуке.

Кто-то из Шебаршиных в галошах на босую ногу, в старой телогрейке, накинутой на плечи, выглянул в ледяной коридор, затем, накрываясь с головой белесым паром, вымахнувшим следом из хорошо натопленной квартиры, прокричал, приложив ко рту ладонь:

– Кто там?

В ответ прозвучало что-то невнятное – не разобрать, что. А вдруг телеграмма, вдруг это заиндевелый старичок из ближайшего почтового отделения?

– Кто там? Не слышу! – в конце концов смельчак, решивший выскочить из тепла на холод, вынужден был спуститься по лестнице вниз, к двери, отодвинуть в сторону старый железный засов.

За дверью, присыпанной снегом, стоял усталый, похудевший, с ввалившимися щеками, в плохонькой солдатской шинели человек. Это был Владимир Иванович Шебаршин, Лёнин отец – его на сутки отпустили из госпиталя домой, отсюда он должен был вернуться назад в госпиталь, а оттуда с командой пополнения вновь оправиться на фронт.

Заохала, завсплескивала руками бабушка Евдокия Петровна, а мать Ленкина Прасковья Михайловна от радости чуть в обморок не грохнулась... Господи, это было такое счастье, такая удача для фронтовика – хотя бы на один день оказаться дома. А для домашних это было еще большим сча-

ствием.

Первым делом надо было помыться – из таза, теплой водой, намылить голову и окунуть ее в таз. Хотя бы немного пофыркать, пролить воду на пол. Да-а, это такое счастье – очутиться дома. Бабушка Дуня тоже светилась от счастья – вон в соседний дом сегодня пришла похоронка, еще одного марьинорощинского жителя убила война – как это страшно! Как страшно вообще получать похоронки – желтоватые листки бумаги, заполненные фиолетовыми чернилами, подписанные командиром какой-нибудь стрелковой роты.

Когда была приготовлена вода и малость улегся поднявшийся шум, отец стянул с себя гимнастерку, а мать решила осмотреть глубокую зарубцевавшуюся рану – красную, затянутую тонкой непрочной кожей... Неожиданно мать вскрикнула и прижала к голове руки. Затянувшаяся рана была покрыта, как вспоминал потом Шебаршин, шевелящейся серой массой.

– Это что, вши? – неверяще проговорила мать, горько качнула головой. – Господи, да это же вши! – воскликнула она прежним неверящим голосом и оборвала восклицание на громкой ноте.

Да, это были вши. Обыкновенные, окопные, госпитальные, дорожные и прочие вши. Никому не ведомо, где и как они выводятся – может быть, в пустых артиллерийских гильзах или старых патронных ящиках...

Появление вшей из ничего, из воздуха, из самой беды и ее

запаха было замечено и в Афганистане, в пору, когда наши ребята воевали там. Шебаршин бывал там много раз. Бывало, забрасывали группу военной разведки в безопасное место, на перекрытие душманской караванной тропы, в пустыню, где ничего, кроме песка, ошпаривающего солнца, змей да черепах нету, – группа та чистенькая, хорошо экипированная, с полным набором медикаментов и оружия, просто стерильная была, и вдруг с удивлением обнаруживали бойцы, что через несколько дней в группе появились вши.

Откуда они брались в раскаленном безлюдье, в пустыне, где даже орлов нет, никто не знает. Размножались вши с умопомрачительной быстротой, и уже через пару дней невозможно было найти клочка одежды, чтобы на нем не было вшей.

Особенно насекомые любили жить у солдат в заживших рубцах ран и под мышками. Поднимает иной солдат руку – а под мышкой у него висит тяжелая шевелящаяся гроздь: это вши вцепились в волосы...

Никакие прожаривания, обработки, купания в раскаленном песке, смачивания одежды ядами не помогали – вши продолжали жить и плодиться. И ели людей поедом. Но с этим Шебаршин столкнулся уже позже, через много лет, а тогда, будучи семи с половиной годов от роду он, как и мать, взмахивал руками и диковато сторонился отца. Многого еще не понимал. Не понимал, что вшей распространяют лишения, беды, боль, страдания, все худое и плохое, и появляются

ся они неспроста.

– Снимай с себя все нижнее белье! – решительно потребовала Прасковья Михайловна. – Все!

– Да ты чего, Пань? – пробовал отбиваться отец. – Если хочешь почистить бельишко от вшей – напрасно – оно не чистится. А прожарить его негде... Не дури, мать!

– Возьмешь свое старое белье – вон, в комод, с ним и уйдешь в свой госпиталь.

– Не в госпиталь – на фронт.

Тут Прасковья Михайловна смолчала, боялась произнести слово «фронт», справедливо полагая, что слова обладают вещей силой. На своем она настояла – отцовское исподнее было сожжено в печи.

На следующий день отец ушел – задерживаться было нельзя, легко можно было угодить в дезертиры. А это в военную пору – преступление тяжкое. За это можно было угодить под трибунал.

Слава Богу, отец Шебаршина прошел войну, уцелел, домой вернулся с орденом и несколькими медалями.

Он был мудрым человеком, Владимир Иванович Шебаршин, хотя и не очень образованным. Трудился на обувной фабрике «Парижская коммуна», выпускавшей очень неплохую прочную обувь.

Иногда выпивал. Плохо отзывался о Сталине, говорил, что врут люди, когда утверждают, что солдаты на войне поднимались с именем Сталина на устах.

– В атаку мы поднимались с матом на устах, мат был нашим Верховным главнокомандующим, – отец качал головой, словно бы печать ставил на этом утверждении.

Ленька, напротив, даже подумать плохо не мог о Сталине, не то чтобы что-то сказать, считал, что Сталин – «это наше все». Этому его, кстати, учили в школе, а науки юный Шебаршин привык усваивать твердо.

Отец, видя, что сын не очень-то внемлет его словам, а попросту говоря, не очень-то верит, добавил, будучи на сто процентов уверенным в правоте своих слов:

– Этот армяшка еще натворит бед.

Леньке же речь отца показалась кощунственной, он вскричал:

– Папа! Перестань! Что ты говоришь!

Отец беседу решил не продолжать, лишь молча опустил голову, словно бы был в чем-то виноват.

Умер Владимир Иванович в 1951 году, когда Лене Шебаршину было шестнадцать лет и он уже знал, что такое боль, потери, горе, как быстро уходят люди, у которых за плечами осталась война.

Было лето, раннее утро, за окном лучезарно светилось жаркое июньское солнышко, отец собирался ехать на работу: опаздывать, как и в довоенное время, было нельзя – строгости те нисколько не изменились. Сидя на постели, он обувался. Неожиданно схватился за сердце и повалился на спину.

– Паня, – позвал он жену, – Паня... Ребятишки!

Сквозь сжатые зубы отца протиснулся хрип.

Его уложили на постель, попытались привести в себя. Не удалось. Через три часа отца не стало.

Было Владимиру Ивановичу Шебаршину всего сорок три года.

Шебаршин-младший не помнит, плакал он тогда или нет – все погрузилось в какой-то красноватый слоистый туман, ничего, кажется, не было видно, только из тумана выплывали отдельные предметы и, помаячив несколько мгновений перед глазами, исчезли. Наверное, все-таки плакал: ведь отец же! Потом много было потерь, но эта потеря – первая крупная, не считая погибших дядьев, которых Леня не так уж хорошо и помнил, – была очень болезненной. Боль ту, – пробившую его в пятьдесят первом году, – он помнил и ощущал до конца дней своих.

При отце он вступил в комсомол, и Владимир Иванович отнесся к этому одобрительно. На одной из перемен к Шебаршину-младшему подошел секретарь комсомольской организации:

– Слушай, Шебаршин, а не пора ли тебе вступить в партию юных коммунистов?

Шебаршин не сразу и понял, что тот партией юных коммунистов назвал комсомол – очень лихое, красиво закрученное определение получилось, – а когда понял, то сказал:

– Так в комсомол же принимают с четырнадцати лет...

– Ну!

– А мне еще только тринадцать.

– Это неважно, мы тебе годик добавим, округлим, так сказать, и все будет в порядке... – Секретарь довольно засмеялся. – Проверять никто не будет.

Так и сделали. Вскоре Шебаршин получил комсомольский билет. Поступал так не только он один, со мной, например, произошла точно такая же история – в комсомол меня приняли, когда мне было тринадцать лет. В документах же стояло – четырнадцать лет, хотя на вид мне можно было дать лет двенадцать, не больше. Но это никого не смущало. Ничего худого, впрочем, в досрочной выдаче комсомольских билетов я не вижу и сегодня – увлечение комсомолом было повальным, комсомол дисциплинировал ребят, уводил от разных шаяк-леек, заставлял учиться – чего же плохого в этом?

Как написал позже Шебаршин, став комсомольцем, он «со спокойной совестью пошел играть в футбол в школьном коридоре. Мячом был старый носок, туго набитый чем-то мягким. Выбить стекло им было невозможно, а учителя тогда снисходительно относились к забавам учеников. Особенно в Марьиной Роще и подобных ей московских окраинных районах».

Еще он написал о том, что в Марьиной Роще существовало три непростительных греха, которые нельзя было совершать и вообще допускать в своей биографии, пусть даже пока еще очень маленькой, – иначе потеряешь и доверие, и уважение людей.

«Дома врать было нельзя, — специально подчеркнув это, написал Шебаршин. — В убогой, пыльной, деревянной, дурно пахнущей Марьиной Роще смертельных грехов было всего три: врать, воровать и брать в долг без отдачи. Все остальное прощалось. Нельзя было ябедничать, но это уже относилось к школе».

«Да, кажется, в школе тех моих стародавних времен даже понятия такого не было — ябеда. Знали мы о нем из каких-то книжек да кино, и казалась ябеда чем-то придуманным, невозможным в настоящей жизни. Откуда было мне и моим приятелям знать, что ябеда, донос с незапамятной старины были неотъемлемой составляющей русской действительности. Это знание пришло много позже, когда душа и совесть несколько задубели и могли спокойно воспринимать неприятные стороны отеческого бытия. Лишь в 89-м я узнал, например, что в мрачном 37-м году четыре миллиона соотечественников обратились в “компетентные органы” с поклепами на такое же или большее число других соотечественников.

К счастью, в Марьиной Роще жили люди по преимуществу мастеровые, ни к какой власти или политике не причастные, у них не было резона держаться за свое место нечестными способами (куда денется место сапожника, портного, слесаря?) или убирать начальника, ибо начальников у них не было. Так они и прошли мимо репрессий, чисток, расстрелов, неожиданных карьер и трагических крахов выдающихся

ся личностей».

В Марьиной Роще к доносам относились презрительно, это было ниже трусости, – а исходной основой, кормом для всякого взрослого доноса была детская ябеда. Увы, эта цепочка нерасторжима, она очень четко прослеживается от начала до конца, со всеми провисами и плохо скрученными сочленениями, от малого к большому. От сопливого, с невымытыми ушами ябеды – до матерого доносчика, строгающего свои цидулы исходя из собственных шкурнических интересов.

В Марьиной Роще руки отбивали за это еще во «младенческом возрасте и отучали от стука-бряка».

А голуби Марьиной Рощи – изящные птицы с их затейливыми полетами, с ласковой доверчивостью отдающиеся человеку в руки, – предмет отчаянной зависти тех, кто голубей не имел, – иногда снились Шебаршину, они словно бы специально приходили к нему из прошлого, и тогда все тяготы, накопившиеся за день, за неделю, за месяц, отступали, все худое вообще словно бы исчезало куда-то, на душе становилось спокойно, делалось легче дышать – так прошлое выручало и помогало жить в настоящем.

Нет, никогда он не забудет изящных красивых птиц Марьиной Рощи, до конца существования своего не забудет, – так оно и вышло: Шебаршин не забыл голубей детства до последнего часа своей такой недлинной и такой яркой жизни.

Институтская пора

От отца Шебаршин заразился книгами – отец был настоящим книгочеем, покупал литературу самую разную, специально сколачивал для книг полочки, хотя в простых семьях в моде были этажерки, но отец упрямо сколачивал полки, поскольку считал: книги украшают стену не хуже картин. А может быть, даже лучше.

Когда не стало отца, Леня Шебаршин учился в девятом классе, сестра его Лера – в седьмом. Вопрос встал так – надо бросить школу и идти на заработки, иначе семье их не выжить. Леня Шебаршин уже приготовился к тому, чтобы бросить девятый класс.

Но надо отдать должное матери – она не позволила сыну бросить школу, пошла работать сама, диспетчером на автобазу. Зарплата у нее была маленькая, такая маленькая, что плакать хотелось, но мать не позволяла детям унывать и плакать. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, продавала книги, вещи, одежду, на барахолку выносила старую утварь.

Шебаршину ученье давалось легко, даже очень легко, почти по всем предметам (да не «почти», а по всем) он имел отличные оценки.

Школу он закончил в пятьдесят втором году с серебряной медалью. Серебряная медаль – это было высоко, тем более что в том же году вышло постановление, дающее медалистам

дорогу практически в любой институт: их, словно бы отмеченных Богом, принимали теперь в вузы без экзаменов.

Какой-либо определенной мечты – стать, допустим, геологом или литератором, врачом, инженером, электриком, агрономом, либо преподавателем иностранного языка, – у Шебаршина не было. Да и вообще, у него, полуголодного паренька из Марьиной Рощи, была совсем другая забота: выжить. Ведь на сорок рублей, получаемых матерью (по-старому – четыреста), семье надо было не только питаться, оплачивать коммунальные «жировки», но и одеваться, ездить на автобусе и хоть бы раз в два месяца ходить в кино. Так что главной заботой для Лени Шебаршина было не будущее, а настоящее.

Куда пойти учиться дальше? Лучше всего, конечно, в такое заведение, где бы и стипендия повышенная имелаась, и одежду форменную выдавали, и кормили бы иногда. Таким заведением, конечно, могло бы быть военное училище, поэтому Шебаршин отвез свои документы в Военно-Воздушную академию имени Жуковского. Все он прошел и был уже готов надеть на себя гимнастерку с курсантскими погонами, но вот такая закавыка – к Шебаршину придралась медицинская комиссия.

В результате Леню Шебаршина положили на несколько дней в госпиталь – надо было пройти обследование. Результаты обследования были «фифти-фифти». В принципе, Шебаршина зачисляли в академию, но, как говорится, без га-

рантий: если где-нибудь на третьем курсе у него «поплохеет» здоровье, то из академии придется уйти, если же не «поплохеет», то можно будет считать, что слушателю Шебаршину повезло.

С радужной перспективой, как и с карьерой летчика, штурмующего стратосферу, пришлось расстаться. Впрочем, падение с высоты на землю не было болезненным: Шебаршин же еще не начал учиться в академии, он просто-напросто вернулся к исходной точке.

Забрав свои документы из приемной комиссии, Шебаршин отнес их в Ростокинский проезд, в Институт Востоковедения. В результате был зачислен на индийское отделение.

Началась новая жизнь – совсем другая, чем в школе, полная иных забот и одновременно довольно беззаботная, бесшабашная. Институт, который избрал Шебаршин, был особенный, со своими традициями, со своим уставом, но все-таки это был учебный институт, где царствовало студенческое братство.

Во-первых, Шебаршин стал получать стипендию, и она была вполне приличная, едва ли не такая, как зарплата у матери. Мать, узнав об этом, только слабо улыбнулась и заплакала.

Отплакавшись, вытерла кончиком пальцев слезы, проговорила:

– Так, глядишь, мы и Лерку вытянем.

Лерка – младшая сестра Шебаршина, говорливая егоза...

А может, Шебаршину это только казалось, что Лерка – говорливая егоза.

Во-вторых, сам институт был некой незримой нравственной и материальной опорой, не будь его, жилось бы Шебаршину много труднее.

Например, когда у него развалились ботинки, развалились так, что из носка стали выглядывать пальцы, а у матери на новые башмаки не было ни копейки, то Леня отправился в кассу взаимопомощи – были такие в ту пору:

– Помогите!

И ему помогли. Выдали семьдесят пять рублей, которые пошли на покупку вполне приличных ботинок. В них Леня Шебаршин проходил почти три года.

Учился он уже на третьем курсе, когда Институт востоковедения решили прикрыть – произошло это после смерти Сталина – и слили с институтом, название которого вызывало не только у Шебаршина, но и у всей студенческой Москвы невольный восторг, а у товарищей Шебаршина неверие, радостный трепет, – Институтом международных отношений.

Жаль только, что перевели туда не всех «восточников», а только половину, но это сдружило, сплотило тех, кто оказался в МГИМО, еще больше.

А с другой стороны, как потом признался сам Шебаршин, от того, что он стал учиться в другом учебном заведении, его благосостояние не улучшилось. Ездить из Марьиной Рощи стало неудобнее и заметно дороже – восемьдесят копеек в

одну сторону, да еще полтинник на метро. В лучшем случае оставалось денег на стакан чая да пирожок. Дома было голодно. Хотя к тому времени поступила в институт Лера и тоже стала получать стипендию, кажется, двести сорок рублей.

Приходилось подрабатывать на железной дороге – за один разгруженный вагон капусты платили неплохо, и этим студенты пользовались, плюс ко всему, имелась подработка на овощной базе. Рядом с домом. Тоже неплохо.

Позже, когда Шебаршин стал немного разбираться в языке урду, его свели с издательством восточной литературы, и там ему дали работу, что называется полегче. Оплата была выше, чем на железнодорожной станции... Он переписывал рукописи.

Хорошее все-таки было то время, ни о чем худом не думалось. Молодые были, увлекающиеся, азартные, сильные. Потом, в зрелые уже годы, та пора вспоминалась с особым теплом и нежностью, она словно бы светом неким была наполнена.

Летом 1956 года группу студентов МГИМО отправили на целину – убирать урожай, первый целинный. Целина тогда у всех находилась на устах, только о ней и говорили, на радио не было и дня, чтобы не звучали песни о целине, ни одна газета не выходила без материалов о том, как там идут дела.

В группу целинников попал и Шебаршин. Потом он рассказывал, что ехали они долго-долго, вначале поездом, который имел привычку останавливаться у каждого столба, по-

том в кузовах грузовиков, – ехали счастливые, беззаботные, с песнями, пока не очутились в степи, пахнувшей хлебом, жарой и полынью, в Урицком районе Кустанайской области, в селе, имеющем легендарное городское название – Севастополь.

Шебаршин работал помощником комбайнера. Дело это было хотя и не сложное, но трудное: надо было застегиваться на все пуговицы и нахлобучивать кепку на нос – летела горячая степная пыль, остья пшеницы, попадавшие на залитое потом тело, оставляли красные болезненные полосы, глаза выжигало солнце, перед лицом начинали бегать цветные круги, соленый пот, как кислота, ел живую, хотя и огрубевшую кожу. Главное было вынести все это, одолеть, перебороть себя, – и ребята вынесли.

А главное – заработали денег. Для Шебаршина это было очень важно: денег в семье Шебаршиных по-прежнему не хватало: как и раньше, на счету была каждая копейка. А с другой стороны, пришла пора обзаводиться и своей семьей: целина и здесь сыграла свою роль.

В отряде МГИМО, прибывшем на целину, находилась Нина Пушкина, однокурсница Шебаршина, только училась она на другом отделении – на китайском.

Когда вернулись в Москву – произошло это в сентябре пятьдесят шестого года, полном холодных, мелких дождей, – то уже не мыслили жизни друг без друга, Леня Шебаршин и Нина Пушкина...

В январе 1957 года они поженились.

У деда Нины сняли проходную комнатуху и стали жить вместе.

Из нее, из комнатухи этой, Шебаршин вместе с женой отправился в Пакистан, в первую свою долгую заграничную поездку – в МИДе они называются командировками. Произошло это в конце пятидесят восьмого года.

Впереди была целая жизнь. Много в ней было незнакомо-го, захватывающего, полного неожиданных поворотов, людей, с которыми предстояло подружиться либо, наоборот, держаться от них подальше, новых городов и стран, дорог и знакомств. Шебаршина ожидала дипломатическая карьера, все ступени которой были хорошо известны всякому сотруднику Министерства иностранных дел, даже самому несообразительному.

Все эти ступени Шебаршину предстояло пройти и стать, в конце концов, послом. Во всяком случае, он себя к этому готовил.

Разве это плохо – быть Чрезвычайным и Полномочным представителем в какой-нибудь стране – например, в Индии? Или в Бирме? А?

Плюс 52° в тени

С Пакистаном у Шебаршина связаны воспоминания, скажем так, очень родственные – примерно такие же родственные, как и с Марьиной Рощей: в Марьиной Роще он совершил первые, очень неровные, испуганные шаги по земле и впервые услышал человеческую речь, потом – песни и музыку, попробовал хлеб, а в Пакистане сделал первые профессиональные шаги: после окончания института он был направлен на работу в наше посольство в Карачи.

Должность была самая незавидная, неприметная, но, как показалось, Леониду Владимировичу, очень интересная – помощник посла. Заодно Шебаршин исполнял обязанности его личного переводчика.

Посол был старый, опытный и мудрый – Иван Фаддеевич Шпедько. И что еще было хорошо: неприметная посольская должность дала Шебаршину возможность познакомиться, как он вспоминал позже, «со многими крупными деятелями Пакистана, иностранными послами, видными бизнесменами», и более того – начать «учиться искусству дипломатической беседы».

Через некоторое время Шебаршин получил самый малый пост в посольской иерархии – атташе, «по этому случаю сшил костюм у лучшего пакистанского портного Хамида и почувствовал себя дипломатом». Находился, как говорят в

таких случаях, на седьмом небе от счастья.

Но атташе – еще не дипломат, и Шебаршин понимал это хорошо.

Через некоторое время в Карачи появился новый советский посол Михаил Степанович Капица, работать с ним оказалось много интереснее, чем со Шпедько.

Спустя некоторое время один из влиятельных членов пакистанского правительственного кабинета Зульфикар Али Бхутто – министр природных ресурсов – пригласил нового посла к себе в гости на родину, в фамильное имение в Ларкане. Посол с женой Лидией Ильиничной поехал в гости на поезде, а в Ларкану из Карачи пошла посольская машина – громоздкий «додж» с двумя седоками – с водителем и молодым переводчиком Леней Шебаршиным.

Та поездка запоминалась Шебаршину на всю жизнь – он увидел Пакистан не с парадного столичного входа, а с изнанки, из глубины.

На ночевку остановились в Хайдерабаде – унылом городе, где на улицах совершенно не было видно женщин, сами улицы были заплеваны, полны вонючих луж и лавок с древними ржавыми вывесками. Ночевали тем не менее в отеле «Риц». Номер на двоих – это пара плетеных из веревок кроватей, серые, некогда бывшие белыми, простыни, в полу – дыра, чтобы туда можно было опорожняться. Вот и все удобства. Еще в стенке был водопроводный кран. Но он то работал, то не работал – не поймешь.

Всякий обед – любое блюдо, даже в ресторане – прежде всего огромное количество мух и перца. Нигде позже Шебаршин не встречал такого количества мух и перца в еде, как тогда в Пакистане, в городе Хайдерабаде.

Он написал: «Обед был примечателен обилием перца и мух. Мраморный столик в столовой издалека показался черным. Ожидавший гостей официант – рубаха навыпуск и босиком – взмахнул тряпкой, и черная поверхность моментально побелела, а тишина заброшенной столовой сменилась отчетливым жужжанием. Еще взмах тряпки над столом – мушиное войско рассеялось по комнате. Во всяком случае, обращать на него внимание уже не стоило, надо было только следить, чтобы наиболее дерзкие насекомые не пикировали в суп. Перец во всем – в супе, курице, подливке к курице, в тарелке вареного риса. Только в чапати, плоской, свежеспеченной из муки грубого помола лепешки, перца нет».

Наверное, в поездке той ничего не было лучше горячей лепешки чапати, снятой прямо со стенки тандыра. Похоже, именно с этих лепешек и началась любовь Шебаршина к Востоку.

В следующий раз остановились на ночлег в «Даг бангла» (бунгало) – обычный почтовой гостинице. Собственно, гостиница эта представляла из себя некое служебное помещение для командированного чиновника – дом, сооружение, построенное в колониальном стиле, с высокими потолками и знакомыми сплетенными из веревок кровати-

ми.

Вентиляции не было, как не было, собственно, и электричества; постояльцы пользовались панкхой – деревянной рамой, обтянутой материей, за один край привязанной к балке; к другому краю была прикреплена веревка, за эту веревку слуга раскачивал панкху и создавал некую видимость обдува в комнате.

Но это англичане имели слуг, без слуги англичанин не англичанин, а вот как обходились Шебаршин с водителем, никому не ведомо – может быть, раскачивали панкху по очереди. Либо вообще плюнули на нее...

И днем и ночью в округе раздавался тяжелый тоскливый скрип. Это медлительные, могучие быки волокли под окнами груженные повозки. Колеса для повозок были выточены из цельного дерева, из той части, что ближе к корню, кроме того – обиты медью.

«Смазки они не знают, трется сухая деревянная ось о деревянную же ступицу и издает звук, тянувшийся за обозами Тамерланова войска и арабских завоевателей и, пожалуй, самого Александра Македонского. Один из голосов вечности».

Именно такой Восток, такая Азия до самых последних дней снились потом Шебаршину, он даже признался, что Азия, в конце концов, сумела войти в его кровь и вошла, как молоко матери...

А началось, как видите, с очень простых вещей. Молодой министр Зульфикар Али Бхутто был человеком небедным,

его двухэтажный особняк выделялся в Ланкаре, он, как записал у себя Шебаршин, «был словно перенесен сюда из другого времени и другого края», поскольку основная часть домов в этом краю выглядела рядом с особняком министра этакими бедными родственниками, у которых вряд ли когда либо наступят лучшие времена.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.